

Николай Добролюбов

Русская сатира екатерининского времени



Николай Александрович Добролюбов

Русская сатира екатерининского времени

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3090175

Аннотация

Статья Добролюбова – яркий пример реализации принципов «реальной критики» на историко-литературном и публицистическом материале XVIII в. Литературу Добролюбов прежде всего соотносит с явлениями действительной жизни; главное для критика – результат, воздействие сатиры прошлого века, настоящего времени на читательские умы, на развитие общества. Противопоставляя «академическую» критику публицистической, «библиографическую» – реальной, Добролюбов включает демократическую сатиру в «настоящее» литературное дело, необходимое для революционно-демократических преобразований русского общества.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	22
Комментарии	

Николай Александрович Добролюбов

Русская сатира екатерининского времени

(Русские сатирические журналы 1769–1774 годов. Эпизод из истории русской литературы прошлого века. Соч. А. Афанасьева. Москва, 1859)

*А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить,
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.*
Крылов^[1]

Искусство говорить слова для слов всегда возбуждало великое восхищение в людях, которым нечего делать. Но такое восхищение не всегда может быть оправдано. Конечно, и звук, как все на свете, имеет право на «самостоятельное существование» и, доходя до высокой степени прелести и силы, может восхищать сам собою, независимо от того, что им выражается. Так, нас может пленять соловьиное пенье, смысла которого мы не понимаем, итальянская опера, которую обыкновенно понимаем еще меньше, и т. п. Но в большинстве случаев звук занимает нас только как знак, как выражение идеи. Восхищаться в официальном отчете – его слогом, или в профессорской лекции – ее звучностью означает крайнюю односторонность и ограниченность, близкую к идиотству. Вот почему, как только литература перестает быть праздною забавою, вопросы о красотах слога, о трудных рифмах, о звукоподражательных фразах и т. п. становятся на второй план: общее внимание привлекается содержанием того, что пишется, а не внешнею формою. Таким образом, красивенькие описания, звучные дифирамбы и всякого рода общие места исчезают пред произведениями, в которых развивается общественное содержание. Является потребность в изображении нравов; а так как нравы, от начала человеческих обществ до наших времен, были всегда очень плохи, то изображение их всегда переходит в сатиру. Таким образом, сатира, говоря слогом московских публицистов^[2], «служит доказательством зрелости общественной среды и залогом грядущего совершенствования государства». Не мудрено поэтому, что и у нас сатира привлекает к себе особенную благосклонность образованной публики и приводит в восторг лучших наших историков литературы, то есть тех, которые уже переступили степень развития, позволяющую иным восхищаться слогом официальных отчетов.

Относительно значения и достоинства сатиры вообще мы совершенно соглашаемся с почтенными историками литературы нашей. Но мы позволим себе указать на одну особенность нашей родной сатиры, до сих пор почти не удостоенную внимания ученых исследователей. Особенность эта состоит в том, что литература наша началась сатирою, продолжалась сатирою и до сих пор стоит на сатире – и между тем все-таки не сделалась еще существенным элементом народной жизни, не составляет серьезной необходимости для общества, а продолжает быть для публики чем-то посторонним, роскошью, забавою, а никак не делом. Это значит, что и сатира у нас вовсе не есть «следствие зрелости общественной среды», а объясняется совершенно другими причинами. Причины эти нетрудно понять: сатира явилась у нас, как привозный плод, а вовсе не как продукт, выработанный самой народной жизнью. Кантемир, обличая приверженцев старины и вздорных поклонников новизны, сказал не думу русского народа, а идеи иностранного князя^[3], пораженного тем, что русские не так

принимают европейское образование, как бы следовало по плану преобразователя России. Ставши под покровом официальных распоряжений, он смело карал то, что и так отодвигалось на задний план разнообразными реформами, уже приказанными и произведенными; но он не касался того, что было действительно дурно – не для успеха государственной реформы, а для удобств жизни самого народа. В то время как вводилась рекрутская повинность, Кантемир изощрялся над неслужащими; когда учреждалась табель о рангах, он поражал боярскую спесь и местничество;^[4] когда народ от притеснений и непонятных ему новостей всякого рода бежал в раскол, он смеялся над мертвой обрядностью раскольников;^[5] когда народ нуждался в грамоте, а у нас учреждалась академия наук, он обличал тех, которые говорили, что можно жить, не зная ни латыни, ни Эвклида, ни алгебры...^[6] С Кантемира так это и пошло на целое столетие: никогда почти не добивались сатирики до главного, существенного зла, не раздражались грозным обличением против того, от чего происходят и развиваются общие народные недостатки и бедствия. Характер обличений был частный, мелкий, поверхностный. И вышло то, что сатира наша, хотя, по-видимому, и говорила о деле, но, в сущности, постоянно оставалась пустым звуком...

Любопытно проследить, как это случилось, и мы не отказываемся, по мере возможности, когда-нибудь серьезно заняться этим вопросом. Но теперь выскажем лишь несколько общих замечаний, нужных для настоящего предмета нашей статьи.

Когда человек говорит о деле, то прямая цель его слов та, чтобы дело было сделано; когда сатирик восстает против недостатков, то у него непременно есть стремление исправить недостатки. Но, чтобы подобная цель могла достигаться, нужно говорить дельно и договаривать до конца; иначе никакого толку не выйдет. Если меня, например, порицают за то, что я живу в дурной квартире и ем плохую пищу, между тем как у меня нет денег для лучшей квартиры и пищи, то очевидно, что все порицания не принесут мне ровно никакой пользы. Человек, истинно желающий, чтобы я исправился от дурной привычки скудно есть и жить в бедности, непременно обратит свои обличения не на квартиру и стол мой, а – или на то, зачем я сам ничего не делаю для своего обеспечения, или на то, зачем другие не вознаграждают моего труда как следует. То же самое и в нравственной жизни общества. Большая часть общественных явлений не может быть изменена просто волею частных лиц: нужно изменить обстановку, дать другие начала для общей деятельности, и тогда уже обличать тех, которые не сумеют воспользоваться выгодами нового устройства. Наши сатирики отчасти не хотели понять этого, а отчасти и понимали, да не могли выразить. Они нападали на необразованность, взяточничество и ханжество, отсутствие законности, спесь и жестокость в обращении с низшими, подлость пред высшими и пр. Но весьма редко в этих обличениях проглядывала мысль, что все эти частные явления суть не что иное, как неизбежные следствия ненормальности всего общественного устройства. Большею частью нападали на взяточника так, как будто бы все зло взяточничества зависело единственно от личной склонности таких-то к обдиранию просителей. Никогда в сатирах наших вопрос о взятках не переходил в рассмотрение общего вреда бюрократии и тех обстоятельств, которыми сама бюрократия порождена и развита. То же было и во всех других вопросах. Большая часть сатириков наших уподоблялась человеку, обличающему бедняка за то, что тот не живет в роскоши, и добросовестно убежденному, что от этих обличений жизнь бедняка пойдет лучше. Некоторые же из обличителей задавались такой мыслию: «Мы, дескать, будем обличать и ославлять бедняка за его скудость; когда это дойдет до хозяина, от которого он получает жалованье, так хозяин-то усомнится, да и сделает ему прибавку». Рассуждение это, замечательное по своей наивности, очевидно руководило весьма многими из наших сатириков, от Сумарокова до наших дней, и вследствие того обличения бедняка в скудости обыкновенно заканчивались увещанием исправиться, оставаясь на службе у того же хозяина... В одной из наших прежних статей мы уже говорили о подобных сатириках, называя их Маниловыми^[7], и здесь

не можем не повторить, что именно этот маниловский характер и лишал постоянно нашу сатиру реального значения. Жевали, жевали, мяли, мяли у нас в литературе разные общественные вопросы и под конец дошли – до чего же? – до эстетического открытия, что и сатира может быть таким же словом для слова, как и звучное стихотворение Фета или Хомякова... Оказалось, что не одни розы и грезы, не одну географию славянских рек, но и общественные язвы можно воспевать только для процесса воспевания. Сатира явилась только другим видом, или, если хотите, другою степенью старинных эклог, рондо и мадригалов... Здесь был, конечно, уже не звук для звука, но и не звук для дела; это было – обличение для обличения, спор для спора, остроумие для остроумия. До настоящего дела было отсюда чрезвычайно далеко, не только в выражении, но и в мысли сатириков. Они твердили: не нужно прислуживаться к начальству, не нужно брать взятки, не нужно эксплуатировать других и пр. Но как же быть, когда без прислуживанья и без взяток большинство чиновников не может выбиться из ничтожества, не может содержать семьи, прилично одеться и т. д.? Как быть, ежели при современных общественных отношениях всякий, кто не эксплуатирует другого, должен почти умирать с голода? При этих вопросах не только обличаемые, но и сами обличители становились в тупик и начинали бить воздух отвлеченностями о том, что, во всяком случае, надо, однако, быть честным. Но так как этот аргумент был уже слишком слаб даже пред судом их собственной совести, вроде докторского уверения больному, что следует беречь здоровье, то они обыкновенно пускались в очарования и надежды. «Конечно, – рассуждали они, – худосочие и ревматизм нельзя уничтожить медикаментами; надо переменить образ жизни и всю внешнюю обстановку. Но в настоящее время, когда все идет вперед, не нужно особенных усилий для того, чтобы сделать такую радикальную перемену: она совершается сама собою. По сложности ученых наблюдений за последние пятьдесят лет оказывается, что климат вообще смягчается в северных странах, море оседает, гастрономия делает новые успехи, многие изнурительные для здоровья работы исполняются новоизобретенными машинами», и пр. и пр. ...Нет сомнения, что все это должно быть весьма утешительно для больного бедняка, потому что подает ему надежду, что медленный, но верный прогресс скоро коснется и его положения и уничтожит причины его болезни... Такие и подобные рассуждения всегда составляли одну из необходимых частей нашей сатиры; причины их заключались в неумение или нерешимости указать действительные средства поправить дело; следствием же их была та двойственность, та непрерывная цепь разочарований и новых надежд, та умилительная смесь негодования и восторга, которые доставили нашим сатирикам так много обломовской миловидности и так мало действительной силы...

Винить ли их за то, что они не умели вылечить больного? Требовать ли от них, чтобы они приняли на себя громадный труд изменить всю обстановку, благоприятствующую болезни? Нет, это было бы несправедливо и нелепо. Их можно упрекать в другом: зачем они придают своим утешительным фразам значение, которого они не имеют? Зачем они, повторяя много лет одни и те же фразы, наконец до того сами увлекаются ими, что говорят их даже не в смысле простого утешения, а прописывают в виде действительного лекарства? Наконец, зачем они так мало имеют последовательности, так поверхностно смотрят на жизнь, что полагают, будто новейшими успехами гастрономии воспользуется желудок больного бедняка или что поднятие балтийского берега может на нынешнюю осень предохранить от наводнения жителей Галерной гавани?..

Несколько месяцев тому назад мы говорили о современной нашей сатире и выражали прискорбие о ее мелочности и поверхностности. Мы высказали убеждение, что от такой сатиры не выйдет истинной пользы для общества. Некоторые приняли наши слова за убеждение, что обличать вовсе не нужно и что сатира только портит эстетический вкус публики^[8]. Но мы вовсе не то имели в виду: мы хотели сказать, что наша сатира *не то и не так* обличает... Плодить далее рассуждения об этой материи мы считаем крайне неудобным, потому

что — известное дело — о настоящем времени всегда трудно произносить откровенное и решительное суждение, а у нас в настоящее время, когда поднято столько вопросов и сделано столько начинаний, подобное суждение положительно невозможно. Но если аналогия может к чему-нибудь повести, то нам представляется в книге г. Афанасьева превосходный случай проследить один «эпизод из истории русской литературы», во многих отношениях аналогичный настоящему времени. Этот эпизод представляет нам сатира екатерининского периода. Книга г. Афанасьева, рассматривающая сатирические журналы того времени, дает нам очень много данных относительно того, что тогда делала сатира. К сожалению, он не обратил внимания на то, какие результаты произошли в самой жизни от столь ярких обличений. Но мы постараемся сделать за него несколько указаний из источников, всем постоянно доступных: из учебника русской истории г. Устрялова, из «Полного собрания законов»^[9] и из нескольких журнальных статей, напечатанных в последнее время.

Век Екатерины долгое время являлся нам в каком-то волшебном сиянии, златым веком процветания России по всем частям. До недавнего времени наше внимание привлекалось только светлую стороною последней половины прошлого века. Созвание депутатов со всей России, Наказ, учреждение о губерниях, громы суворовских и румянцовских побед, приобретение Крыма и Польши, развитие народного просвещения, процветание наук и художеств, оды Державина, поэмы Хераскова, комедии Фонвизина и самой Екатерины — все это преисполняло благоговением даже самую нечувствительную душу. Но «в настоящее время, когда» Россия вступает в новый период существования, и для екатерининской эпохи наступила уже история. Теперь уже нужны не дифирамбы, не безотчетные хвалы, а беспристрастное и спокойное рассмотрение фактов того времени во всей их полноте. Скрывать или искажать исторические факты, бывшие за сто или за восемьдесят лет назад, было бы крайне невежественным и зловредным, почти иезуитским поступком. Вот почему теперь беспрепятственно появляется в печати множество материалов для екатерининской истории, которые до сих пор не могли появиться в свет. В «Русской беседе» напечатаны «Записки» Державина^[10], в «Отечественных записках», в «Библиографических записках» и в «Московских ведомостях» недавно помещены были извлечения из сочинений князя Щербатова^[11], в «Чтениях Московского общества истории» и в «Пермском сборнике» — допросы Пугачеву и многие документы, относящиеся к истории пугачевского бунта;^[12] в «Чтениях» есть, кроме того, много записок и актов, весьма резко характеризующих тогдашнее состояние народа и государства; месяц тому назад г. Иловайский, в статье своей о княгине Дашковой, весьма обстоятельно изложил даже все подробности переворота, возведшего Екатерину на престол;^[13] наконец, сама книга г. Афанасьева содержит в себе множество любопытных выписок из сатирических журналов — о ханжестве, дворянской спеси, жестокостях и невежестве помещиков и т. п. Выписки эти в прежнее время были невозможны; но теперь они являются в весьма значительном количестве, потому что «в настоящее время, когда» крестьянский вопрос принял уже такие обширные размеры и предан правительством такой широкой гласности, подобные исторические указания могут делаться совершенно безопасно. Опираясь на эти примеры, и мы решаемся раскрыть, насколько возможно по скудости источников и другим обстоятельствам, истинное отношение сатиры екатерининского периода к самой действительности того времени и показать, каковы были результаты тогдашних литературных толков для последующей жизни народа и государства.

* * *

Ежели рассматривать сатиру екатерининского времени как нечто самобытное и серьезное и не обращать внимания на факты, противоречащие такому взгляду, то нельзя не удивляться ее силе и смелости, нельзя не прийти в восхищение и не подумать, что такая сатира

должна была произвести благотворнейшие результаты для всей России. До таких именно убеждений и дошел г. Афанасьев, как видно из первых слов его книги.

Блистательное царствование императрицы Екатерины II, столько замечательное во всех отношениях, известно и своим благотворным влиянием на развитие отечественной литературы и журналистики. *Успехи общественной жизни отразились и на серьезном содержании многих литературных произведений, и на благородном их направлении.* Защита просвещения, борьба с невежеством и предрассудками, открытая и меткая насмешка над нравственными общественными недугами и глубокое чувство истинного патриотизма – вот те существенные стремления, которым служило перо лучших сочинителей того времени.

Далее г. Афанасьев говорит, что «сатира, состоя в тесной связи с теми преобразованиями, какие задумывала и совершала великая Екатерина, *бросала на восприимчивую почву русской народности живительное семя*» (стр. 2). Какова была жатва, об этом г. Афанасьев не считает нужным распространяться; но, по его словам, надо полагать, что при таких благоприятных условиях и жатва должна быть очень хороша. Семя живительное и почва восприимчивая: чего же вам больше? Разве посторонние влияния могли мешать: градом побивало растительность, саранча налетала? Да и того не могло быть: ведь сатира «состояла в тесной связи с преобразованиями великой Екатерины»! Очевидно по всем признакам: екатерининская сатира должна была принести прекраснейшие плоды.

И действительно, сами сатирики того времени были убеждены в громадности своего влияния на исправление общественных недостатков. Сознывая свою связь с правительственными преобразованиями, они не отделяли своего дела от дела Екатерины и твердо уповали на скорое водворение в России златого века, вследствие совокупных усилий правительства и литературы. Без этой приправы не обходилось у них ни одно обличение! Особенно восхищало их то, что при Екатерине уже не водили к пытке и не ссылали в Сибирь за каждое нескромное слово. «Читая твой листок, – писал кто-то к «Живописцу»^[14], – я плакал от радости, что нашелся человек, который против господствующего ложного мнения осмелился говорить в печатных листах. Великий боже! услыши моление восьмидесятилетнего старика, к счастью нашему продли дни премудрых государыни!.. Куда бы ты попал, бедняжка, если б эту песню запел в то время, когда я был помоложе» («Живописец», ч. I, стр. 52). Это было напечатано в «Живописце» в 1772 году, то есть через десять лет по вступлении Екатерины на престол. Известно, что «Живописец» посвящен «сочинителю комедии» «О, время!», то есть самой Екатерине, и в посвящении этом прямо и положительно объясняется, что сатира принимает смелость обличать пороки именно вследствие поощрения государыни, как правительственного, так и литературного. Новиков, прикидываясь, что не знает, кто сочинил «О, время!», говорит здесь о Екатерине и как об авторе и как о правительнице, и одну восхваляет пред другим. Между прочим, он говорит автору комедии:

Вы первый с таким искусством и остротою заставили слушать едкость сатиры с приятностью и удовольствием; вы первый с такою благородною смелостию напали на пороки, в России господствовавшие... Продолжайте, государь мой, прославлять себя вашими сочинениями... Взгляните беспристрастным оком на пороки наши, закоренелые, худые обычаи, злоупотребления и на все развратные наши поступки; вы найдете толпы людей, достойных вашего осмеяния; и вы увидите, какое еще пространное поле к прославлению вашему осталось.

Слова эти можно заметить как свидетельство писателя, что в 1772 году, несмотря на возгласы одописцев об Астрее^[15] и золотом веке, господствовало еще в России полное раз-

вращение, и сатира, упражнявшаяся над ним уже три года (считая с 1769, когда начались сатирические журналы), по-прежнему имела для себя еще «пространное поле». Впрочем, весь «Живописец» свидетельствует об этом еще лучше, и потому-то особенно любопытна та легкость, с которою и он, вместе с другими, поет хвалы «златому веку», наставшему тогда в России. Видно, что для «златого века» сатирики считали нужным только дозволение говорить о пороках... На это преимущественно и сводит Новиков свое увещание автору комедии «О, время!» насчет продолжения его писаний. Сказав об обилии наших пороков и злоупотреблений, он продолжает:

Вы первый достоин показать, что *дарованная вольность умам российским употребляется в пользу отечества*. Но, государь мой, почто укрываете вы свое имя, имя, всеобщия достойное похвалы? Я никакие не нахожу к тому причины. Неужели, оскорбя столь жестоко пороки и вооружа против себя порочных, опасаетесь их злословия? Нет, такая слабость никогда не может иметь места в благородном сердце. *И может ли такая ваша смелость опасаться угнетения в то время, когда, ко счастью России и ко благоденствию человеческого рода, владычествует наша премудрая Екатерина! Ее удовольствие, оказанное во представлении вашей комедии, удостоверяет о покровительстве ее таким, как вы, писателям*. Чего ж осталось вам страшиться? («Живописец», ч. I, стр. IV).

Из этого, не совсем ловкого по нынешним понятиям, указания на удовольствие Екатерины, выраженное ею при представлении ее же пьесы, видно, как мало тогдашняя сатира имела собственной инициативы и как она нуждалась в меценатстве и поощрении сверху. Поощрение это действительно даваемо было Екатериною, разумеется, в тех пределах, в каких она считала нужным и сообразным с своими видами, – и благодарные сатирики не могли без умиления отзываться о милостях премудрой монархини. Они беспрестанно хвалились ее покровительством и чрез то зажимали рот обскурантам, которым не нравилась свобода слова. «Живописец» изображает глупого и жестокого помещика, который пишет к сыну своему Фалалею: «Что за Живописец такой у вас проявился? Какой-нибудь немец, а православный этого не написал бы... О, коли бы он здесь был! То-то бы потешил свой живот: все бы кости у него сделал как в мешке! Что и говорить: дали волю!.. Тут небось не видят, и знатные господа молчат!» («Живописец», I, стр. 109). В «Трутне» упоминается *сுவвер*, называющий златой век, в коем *позволено всем мыслить*, железным веком («Трутень», стр. 280)^[16]. Сама Екатерина придавала очень большую цену тому, что свобода слова не стесняется ею. В «Былях и небылицах», напечатанных в 1783 году (через десять лет после «Живописца»), она упоминает выходку *дедушки* против «разговоров, касающихся поправления того-сего». «В прежнее время, по словам дедушки, разговоры сии вели вполголоса или на ушко, дабы лишней какой беды оные кому из нас не нанесли; следовательно, громогласие между нами редко слышно было; беседы же получали от того некоторый блеск и вид вежливости, которой следы не столь приметны ныне: ибо разговоры, смех, горе и все, что вздумать можешь, открыто и громогласно отправляется». «Для изъяснения сего дедушка говорит, что *будто мысли и умы, долго быв угнетены под тягостию тайны, вдруг, яко плотина от сильной водополи, прорвались*» (см. «Собес. люб. рос. сл.», ч. II, стр. 137). В «Собеседнике», издававшемся кн. Дашковой под руководством самой Екатерины, также находится одно письмо, в котором говорится: «Держитесь принятого вами единожды навсегда правила: не воспрепятствовать честным людям свободно изъясняться. Вам нет причины страшиться гонений за истину под державою монархини,

Qui pense en grand homme et qu'il permet, qu'on pense!^[17]

В то же время Державин прославлял свободу слова, данную Екатериной, в обращении к Фелице (Соч. Державина, стр. 308):

Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем, и вьявь, и под рукой,
И знать и мыслить позволяешь,
И о себе не запрещаешь
И быль и небыль говорить^[18].

К этому же великодушному «позволению знать и мыслить» возвращается Державин и позже, в «Изображении Фелицы» (1789), влагая ей в уста следующие слова к народу (Державин, стр. 415):

Я вам даю свободу мыслить
Не в рабстве, а в подданстве числить^[19],
И в ноги мне челом не бить;
Даю вам право без препоны
Мне ваши нужды представлять,
Читать и гнать мои законы.
И в них ошибки замечать.

Даже в оде на кончину Екатерины («Память ноября 1796 года»), сочиненной Капнистом (Сочинения его, стр. 309), мы находим упоминание о том, что при ней

Мы крылья мыслей расширяли,
Дерзая правду ей вещать^[20].

Таким образом, во все время царствования Екатерины русская литература постоянно повторяла ту мысль, что писателям дана полная свобода откровенно высказывать все, что угодно. Мысль эта сделалась постоянным и непреложным мнением и много раз высказывалась и впоследствии, долго спустя после смерти Екатерины. Так, например, Карамзин в своей записке «О старой и новой России», указавши на свободу печати при Екатерине, приводит даже и объяснение этого явления в таком виде:

Уверенная в своем величии, твердая, непреклонная в намерениях, объявленных ею, будучи единственною душою всех государственных движений в России, не выпуская власти из собственных рук, без казни, без попыток влияя в сердца министров, полководцев, всех государственных чиновников живейший страх сделаться ей неугодным и пламенное усердие заслуживать ее милость, *Екатерина могла презирать легкомысленное зловещие и позволяла искренности говорить правду. Сей образ мыслей, доказанный делами 34-летнего владычества, отличает ее царствование от всех прежних в новой российской истории. Следствием были: спокойствие*

¹ Которая мыслят как великий человек и разрешает мыслить другим (фр.). – Ред.

сердец, успехи приятностей светских, знаний, разума (Карамзин, изд. Эйнерлинга, III, XLVII)^[21].

Впрочем, было бы величайшим заблуждением думать, на основании возгласов тогдашних литераторов, будто при Екатерине можно было безнаказанно говорить и писать все, что только придет на ум. Напротив, императрица очень зорко следила за тем, чтобы в обществе и в народе не рассеивались понятия и слухи, несообразные с ее намерениями относительно устройства и управления государством. При самом восшествии ее на престол начали ходить в народе различные слухи, которые были ей неприятны. Вследствие того в 1763 году, июня 4, издан был указ «о воздержании каждому себя от непристойных званию его толкований и рассуждений» (П. С. З., № 11843)^[22]. В этом указе говорится, между прочим:

Со дня самого вступления нашего на всероссийский престол, мы, богу содействующему, в сердце нашем никогда о пользе и добре наших подданных пещись, яко мать о детях своих, не оставим, в чем да управит и укрепит нас его ж рука святая. Вследствие чего равное ж желание и воля наша есть, чтоб все и каждый из наших верноподданных единственно прилежал своему знанию и должности, удаляясь от всяких продерзких и непристойных разглашений. Но противу всякого чаяния, к крайнему нашему прискорбию и неудовольствию, слышим, что являются *такие развращенных нравов и мыслей люди, кои не о добре общем и спокойствии помышляют, но как сами заражены странными рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежащих, не имея о том прямого сведения, так стараются заражать и других слабоумных*, и даже до того попускают свои слабости в безрассудном стремлении, что *касаются дерзостно своими истолкованиями не только гражданским правам и правительству и нашим издаваемым уставам, но и самим божественным узаконениям*, не воображая знатно себе ни мало, каким таковые непристойные умствования подвержены предосуждениям и опасностям.

Затем говорится, что «хотя таковые умствователи праведно заслуживают достойную себе казнь, *яко спокойствию нашему и всеобщему вредные*», но на первый раз монархиня обращается к ним лишь с «материнским увещанием», надеясь, что они сами постараются заслужить «благословение божие и монаршую милость, доверенность и благоволение»; в противном же случае обещает поступить с ними «по всей строгости законов». Подобные объявления с угрозами издавались не раз и в последующие годы. Источники чрезвычайно скудны насчет того, в какой мере исполнялись эти угрозы и много ли было людей, действительно захваченных в «вольных речах». Но некоторые сведения из истории нашей литературы и законодательства показывают, что указы Екатерины не оставались пустыми словами и этим очень резко отличались от сатирических возгласов тогдашних восторженных обличителей. В марте 1764 года сожжен на площади с барабанным боем «пасквиль, выданный под именем высочайшего указа» и начинающийся словами: «Время уже настало, что лихоимство искоренить, что весьма желаю в покое пребывать, однако весьма наше дворянство пренебрегает...» и пр. (П. С. З., № 12089). В январе 1765 года (П. С. З., № 12313) повелено было сжечь на площади, чрез палача, непристойные сочинения, названные в указе «пасквилями», но не обозначенные никакими подробностями относительно их содержания. В мае 1767 года наказан плетью в Ярославле и сослан в Нерчинск дворовый человек Андрей Крылов за то, что держал у себя тот самый пасквиль, о котором был указ в марте 1764 года (П. С. З., № 12890). Неизвестно, на каких именно условиях дозволен был вообще выход книг в России до 1770 года. Но в этом году дано разрешение иностранцу Гартунгу на учреждение первой в России вольной типографии для печатания книг на иностранных языках, и в указе,

данном по этому случаю, есть пункт, запрещающий ему выпускать из типографии какие бы то ни было книги «без объявления для свидетельства в Академию наук и без ведома полиции». Русские же книги ему не дозволено печатать, «дабы прочим казенным типографиям в доходах их подрыву не было» (П. С. З., № 13572). Из этого видно, что размеры тогдашней книжной деятельности были весьма ничтожны, но что и те не были оставлены без строгого правительственного контроля. В 1776 году дано дозволение завести типографию и для русских книг иностранцам Вейбрехту и Шпору; а в 1780 году тот же Шпор получил разрешение завести типографию в Твери. В январе 1783 года дозволено наконец заводить вольные типографии кому угодно, *не спрашивая ни у кого дозволения*, только с тем, чтобы все печатаемые книги были свидетельствуемы Управою благочиния (П. С. З., № 15633). Это дозволение также было прославлено в свое время русскою литературою, и сама императрица придавала ему большое значение. В «Собеседнике», издававшемся ею в 1783–1784 годах, напечатаны были известные «Вопросы» Фонвизина^[23], между которыми был следующий: «Отчего у нас тяжущиеся не печатают тяжоб своих и решений правительства?» Екатерина отвечала с величественным лаконизмом: «*Оттого, что вольных типографий до 1782 года не было*». Этот ответ привел в восторг и умиление Фонвизина: сатирик увидел здесь косвенное дозволение частным лицам печатать судебные дела и решения. В особом письме^[24], напечатанном в том же «Собеседнике» (ч. V, стр. 145), он красноречиво излагает пользу судебной гласности. «Ответ ваш, – пишет он, – подает надежду, что размножение типографий послужит не только к распространению знаний человеческих, но и к подкреплению правосудия. Да облобызаем мысленно, с душевного благодарностью, десницу правосуднейшая и премудрый монархини. Она, отверзая новые врата просвещению, в то же время и тем самым полагает новую преграду ябеде и коварству. Она и в сем случае следует своему всегдашнему обычаю; ибо рас-сечь одним разом камень претыкания и вдруг источить из него два целебные потока есть образ чудодействия, Екатерине II весьма обычный. Способом печатания тяжоб и решений глас обиженного достигнет во все концы отечества. Многие постыдятся делать то, чего делать не страшатся. Всякое дело, содержащее в себе судьбу имения, чести и жизни гражданина, купно с решением судебным, может быть известно всей беспристрастной публике; воздастся достойная похвала праведным судиям, возгнушаются честные сердца неправдою судей бессовестных и алчных» и пр.

Однако же судебные процессы не печатались у нас при Екатерине – неизвестно по каким причинам. Была одна попытка в 1791 году. Некто Василий Новиков стал тогда издавать «Театр судоведения, или Чтение для судей», в котором печатал замечательные судебные дела, иностранные и несколько русских, обыкновенно таких, в которых, по его выражению, «нельзя было *не восплескать* мудрости судей». Но очевидно, что это было совсем не то, о чем говорил Фонвизин, и оттого не удивительно, что издание В. Новикова не пошло и прекратилось по выпуске шести книжек. Для нас в этом издании замечательно то, что и в 1791 году говорились о гласности те же самые фразы, какие, как мы видели, были в ходу в 1769 году. Вот, например, тирада из IV части: «Под покровом владычествующий на севере Минервы все части человеческих познаний достигают своего совершенства. Ободренные музы, будучи доступны к ее престолу, вещают ей о всем устами самой истины. Отверзаются врата Фемидина храма, вступают в него Минервины други; корыстолюбивый и незнающий судья трепещет, а достойный готовится к новому торжеству своих подвигов» («Театр судоведения», ч. IV, стр. 3–4).

Во всех подобных возгласах было очень много риторического самодовольства. Писатели того времени, не обращая внимания на публику, для которой они писали, не думая о тех условиях, от которых зависит действительный успех добрых идей, придавали себе и своим словам гораздо более значения, нежели следовало. Когда им позволяли сказать что-нибудь резкое, они были убеждены, что это означает желание осуществить на деле эти резкие слова.

Но, разумеется, гораздо основательнее было бы судить об этом иначе, и мы не можем не привести здесь суждения типографщика Селивановского, которое находится в его «Записках», помещенных в «Библиографических записках» прошлого года (№ 17, стр. 518). «Цензуры в то время (около 1790 года) не было, – пишет он, – книги рассматривались при управе или обер-полицмейстером, то есть предъявлялись, но не читались. *В ту пору книга была нечто пустое, неважное, и еще не думали, что она может быть вредна*». Глубокую справедливость этого замечания подтверждают факты, последовавшие за 1783 годом. Немедленно после дозволения, данного в этом году на открытие вольных типографий, их развелось очень много, и книжная деятельность чрезвычайно усилилась. Новиков, еще в 1779 году взявший на откуп московскую университетскую типографию и очень усердно печатавший в ней книги, теперь еще более расширил свою деятельность заведением собственной типографии – «компании типографической». Тут уже стали обращать серьезное внимание на литературу и несколько опасаться *свободоязычия*, которого Екатерина, как видно по всему, очень не любила. На вопрос Фонвизина: «Имея монархиню честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилом – удостоиваться ее милостей одними честными делами, а не отваживаться прояснять их обманом и коварством? Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а нынче имеют, и весьма большие?» – Екатерина отвечала: «Сей вопрос родился от *свободоязычия*, которого предки наши не имели; буде же бы имели, то начли бы на нынешнего одного десять прежде бывших» (Сочинения Екатерины, III, 31)^[25]. Подобное этому свободоязычие увидела она и в изданиях Новикова, и как скоро заметила, что оно может повести к каким-нибудь последствиям «для спокойствия ее и всеобщего вредным», то и решилась прекратить его. Уже в 1784 году, за напечатание неблагоприятной для иезуитов истории их ордена в «Московских ведомостях» (№№ 69–71), она выразила свой гнев на Новикова и велела отобрать эти листы «Ведомостей», объяснив причину своего гнева следующим образом: «ибо, дав покровительство наше сему ордену, *не можем дозволить, чтоб от кого-либо малейшее предосуждение оному учинено было*» (см. «Москвитянин», 1843, № 1, стр. 241). В 1785 году наряжено было следствие над Новиковым, в 1786 году поволено было запретить в продаже некоторые книги, у него напечатанные и «наполненные странными мудрствованиями» (П. С. З., № 16362). Еще более гнев императрицы на литературу возбужден был известным «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева. Сентября 4-го 1790 года дан был указ о ссылке его на десять лет в Сибирь, «за издание книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изращениями противу сана и власти царской» (П. С. З., № 16901). В 1791 году, вследствие разных неблагоприятных расположений, должна была закрыться типографическая компания. В 1792 году Новиков посажен в Шлиссельбург, а некоторые из его друзей сосланы на житье в деревни. Наконец, в 1796 году, сентября 16-го, последовал именной указ сенату «об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об учреждении на сей конец цензур и об упразднении частных типографий» (П. С. З., № 17508). В указе этом говорится, что, «в прекращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг, признано за нужное: 1) учредить цензуру в столицах и пограничных приморских городах, из одной духовной и двух светских особ составляемую; 2) частными людьми заведенные типографии, в рассуждении злоупотреблений, от того происходящих, упразднить, тем более что для печатания полезных и нужных книг имеется достаточное количество таковых типографий, при разных училищах устроенных». Эта мера уже слишком решительна; но Екатерина не опасалась на ней настаивать и за несколько дней до своей смерти, октября 22, подтвердила повеление об уничтожении вольных типографий (П. С. З. № 17523). Постановления о цензуре были развиты и организованы в царствование

Павла. Но, в сущности, и эти меры Екатерины, при всей их крайности, не достигли цели, как сознавалось потом само наше законодательство. Запрещение печатать книги в вольных типографиях было вызвано подозрениями, не имевшими прочного основания, как доказали последствия. Подозрения эти получили свою силу преимущественно вследствие опасений Екатерины, чтобы в России не отозвалось то волнение умов, которое в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия совершалось во Франции^[26]. Но состояние тогдашнего русского общества вовсе не было таково, чтобы в нем могло развиваться что-нибудь серьезно опасное для существующего порядка. Книга Радищева составляла едва ли не единственное исключение в ряду литературных явлений того времени, именно потому, что она стояла совершенно одиноко, против нее и можно было употребить столь сильные меры^[27]. Впрочем, если бы этих мер и не было, все-таки «Путешествие из Петербурга в Москву» осталось бы явлением исключительным, и за автором его последовали бы, до конечных его результатов, разве весьма немногие. Стало быть, с этой точки зрения, излишние строгости против тогдашнего книгопечатания были совершенно не нужны: Екатерина ни в каком случае не могла страшиться неблагоклонных отзывов и «противных ее и всеобщему спокойствию» выходок со стороны литературы, которая всегда так усердно и громко прославляла ее и всегда была готова беспрекословно следовать по указанному от нее направлению. Если же предположить другую цель строгостей Екатерины, то есть ту, чтобы вообще менее писали и рассуждали, то в этом отношении ее меры вовсе не достигли цели. Русское общество даже и в то время так уже привыкло «читать книгу», что невозможно было вовсе лишить его «книги», выгнать «книгу» из государства... Что бы там ни печаталось, что бы ни говорилось, до этого обществу дела еще не было; но «книга» была ему нужна. Вследствие того в самом указе об упразднении всех вольных типографий упомянуто об оставлении «достаточного количества типографии при училищах, для напечатания нужных и полезных книг», и, кроме того, дано дозволение «быть типографиям в губерниях при наместнических правлениях, для облегчения тамошних канцелярий». По свидетельству Сопикова (Опыт русской библиографии, том I, стр. СХХ)^[28], все упраздненные типографии немедленно и разошлись по губерниям. Кроме того, найден был, разумеется, и другой способ распространения в публике сочинений, которые почему-нибудь имели для нее интерес^[29]. Вследствие всего этого император Александр, вскоре по вступлении своем на престол, указом 9 февраля 1802 года, снова дал дозволение привозить из-за границы все иностранные книги и заводить повсеместно вольные типографии. В указе этом находится прямое и откровенное указание на причины, вызвавшие распоряжение императора. Упомянув сначала о запрещении 1796 года, указ продолжает: «Но как, с одной стороны, внешние обстоятельства, к мере сей правительство побудившие, прошли и ныне уже не существуют, а с другой – пятилетний опыт доказал, что средство сие было и весьма недостаточно к достижению предполагаемой им цели, то по уважениям сим и признали мы справедливым, освободив сию часть от препон, по времени соделавшихся излишними и бесполезными, возвратить ее в прежнее положение...» Далее, после разрешения вновь заводить вольные типографии и печатать в них всякие книги с освидетельствованием Управы благочиния, в указе повелевается – «цензуры всякого рода, в городах и при портах учрежденные, *яко уже ненужные*, упразднить» (П. С. З., № 20139). Вскоре после того, в 1804 году, издан первый цензурный устав, усовершенствованный потом в 1828 году.

Таким образом, обращаясь снова к литературе, и преимущественно сатире, екатерининского времени, мы должны сказать, что сатирики были не совсем правы, воображая, будто им так уж и позволят печатать все, что бы ни пришло в голову. Но за это, разумеется, нельзя строго судить их: во-первых, после Бирона, после ужасного «слова и дела»^[30], та льгота, какая была дана при Екатерине, должна была показаться верхом всякой свободы, во-вторых, литература наша в то время была еще так нова, так несовершеннолетняя, что не могла не увлекаться и не обольщаться, когда ей давали позволение поиграть и порезвиться, и

очень легко могла верить в мировое значение своих забав. Притом же большая часть тогдашних литераторов даже и не видела грани, которая отделяла дозволенное им, игрушечное, от непозволенного, серьезного. И почти ни у кого не являлось охоты переступить эту грань, потому что вся литература тогда была делом не общественным, а занятием кружка, очень незначительного...

При таком положении дел может быть странно только одно: каким же образом сатирики и в течение десятков лет могли оставаться в столь забавной иллюзии, воображая, что от их слов может произойти «поправление нравов» в целой России? Но и это объясняется довольно удовлетворительно двумя обстоятельствами: во-первых, тем, что сатира не отделяла своего дела и своих стремлений от идей и распоряжений правительства, подававших, особенно сначала, весьма большие надежды; во-вторых, тем, что, раз ставши под покровительство «премудрый Минервы», сатирики того времени могли позволять себе, в самом деле, значительную свободу в своих обличениях частных недостатков и злоупотреблений. Оба эти обстоятельства требуют несколько более подробнейшего рассмотрения. Восшествие на престол императрицы Екатерины, как можно видеть даже из учебника Устрялова (ч. II, стр. 163–167), совершилось столь счастливо потому всего более, что предшественник ее навлек на себя своими распоряжениями всеобщее негодование. До сих пор не были у нас изображены все обстоятельства ее вступления на царство; но недавно г. Иловайский, по давно известным источникам иностранным, напечатал и на русском языке почти все подробности этого дела (см. «Отечественные записки», 1859, № IX)^[31], и, следовательно, о них можно говорить положительнее. Впрочем, нам даже нет надобности говорить от своего лица: стоит только привести две выдержки из манифеста, изданного Екатериною тотчас по вступлении на престол, и нам будет совершенно ясно, в каком положении становилась она с самого начала пред лицом своих подданных. В начале манифеста она указывает на общее неудовольствие русских против Петра и затем продолжает описывать его поступки следующим образом (Указы Екатерины II с 1762 по 1763 год, стр. 18):

Между тем, когда все отечество к мятежу неминуемому уже противу его наклонялося, он паче и паче старался умножать оскорбление развращением всего того, что великий в свете монарх и отец своего отечества, блаженный и вечно незабвенный памяти государь император Петр Великий, наш вселюбезнейший дед, в России установил и к чему он достиг неусыпным трудом тридцатилетнего своего царствования, а именно: законы в государстве все пренебрег, судебные места и дела презрел и вовсе о них слышать не хотел, доходы государственные расточать начал не полезными, но вредными государству издержками, из войны кровопролитной начинал другую, безвременную и государству Российскому крайне бесполезную, возненавидел полки гвардии, освященным его предкам верно всегда служившие, превращать их начал в обряды неудобноносимые, которые не токмо храбрости военной не умножали, но паче растрavляли сердца болезненные всех верноподданных его войск и усердно за веру и отечество служащих и кровь свою проливающих. Армию всю раздробил такими новыми законами, что будто бы не единого государя войско то было, но чтоб каждый в поле удобнее своего поборника губил, дав полкам иностранные, а иногда и развращенные виды, а не те, которые в ней единообразием составляют единодушные. Неутомимые и безрассудные его труды в таковых вредных государству учреждениях столь чувствительно напоследок стали отвращать верность российскую от подданства к нему, что ни единого и народе уже не оставалось, кто бы в голос с отвагою и без трепета не злословил его и кто бы не готов был на пролитие крови его.

Но заповедь божия, которая в сердцах наших верноподданных обитает к почитанию власти предержащей, до сего предприятия еще не допускала, а вместо того все уповали, что божия рука сама коснется и низвергнет утеснение и отягощение народное его собственным падением.

Рассказавши затем всю историю переворота и приведши вполне письмо Петра, в котором он отрекается от престола, Екатерина переходит к объяснениям относительно ее собственных намерений и понятий о власти, ею принятой. Вот заключение манифеста (Указы, стр. 22–23):

Таковым, богу благодарение, действием престол самодержавный нашего любезного отечества приняли мы на себя без всякого кровопролития, но бог един и любезное наше отечество чрез избранных своих нам помогали. В заключение же сего неисповедимого промысла божия мы всех наших верных подданных обнадеживаем всемилостивейше, что просить бога не оставим денно и ночью, да поможет нам поднять скипетр *в соблюдение нашего православного закона, в укрепление и защищение любезного отечества, в сохранение правосудия, в искоренение зла и всяких неправд и утеснений, и да укрепит нас на вся благая.* А как наше искреннее и нелицемерное желание есть прямым делом доказать, сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол: то таким же образом здесь *наиторжественнейше* обещаем нашим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомки каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка, и тем уповаем предохранить целостность империи и нашей самодержавной власти, бывшим несчастьем несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству сынов вывести из уныния и оскорбления. Напротиву того, не сомневаемся, что все наши верноподданные клятву свою пред богом не преступят в собственную свою пользу и благочестие, почему и мы пребудем ко всем нашим верным подданным неперменны нашею высочайшею императорскою милостию. Дан в Санктпетербурге июля 6-го дня, 1762 года.

Понятно значение подобного манифеста: взяв в свои руки власть от человека, которым были недовольны, Екатерина, очень естественно, старается показать всем, что в ее руках эта власть не будет уже источником недовольства. Вследствие этого она «наиторжествеинейше обещает» сделать такие постановления, которые «сохранят добрый во всем порядок и предохранят целостность империи и самодержавной власти». Последнее указание очень важно: оно доказывает, что обещания императрицы не были фразою, довольно обыкновенною в подобных случаях, а вызваны были действительною необходимостью. Она чувствовала, что ей нужно добрым управлением сохранить и упрочить свою власть, и поспешила всенародно высказать свое убеждение. Таких данных уже совершенно достаточно было образованным людям того времени – и особенно писателям, людям скромным и негосударственным – для того чтобы предаться отрадным ожиданиям и даже представить себе уже осуществленную мечту далекого будущего о златом веке. И нельзя сказать, чтоб их мечты не имели основания: в первые годы царствования Екатерины каждый сколько-нибудь важный указ ее начинался заявлением материнской ее заботливости о благе народном, и во многих указах действительно делались льготы и улучшения, какие были нужны по тогдашнему времени. Одно уничтожение тайной канцелярии было уже такою мерою, которая способна была вну-

шить всякому наилучшее расположение к правительству и полное доверие к его гуманности. Известно, какое страшное орудие составляла тайная канцелярия, вместе с «словом и делом», в руках клеветников Бирона; известно также, что не один Бирон пользовался этим ужасным средством держать всех в безмолвном страхе и повиновении. Со времен Петра I тайные канцелярии, под разными названиями, постоянно, в течение полвека, были страшилищем народа. Петр III, вскоре по вступлении на престол, указом 21 февраля 1762 года, уничтожил ее (П. С. З., № 11445), но Екатерина новым указом, 19 октября того же года (П. С. З., № 11687), еще раз ее уничтожила и вторично запретила ненавистное «слово и дело», повторивши слово в слово весь указ о том Петра III. В указе этом, по обычаю того времени, излагаются и побудительные причины принятого решения. Начало указа таково:

Всем известно, что к учреждению тайных розыскных дел канцелярий, сколько разных имен им ни было, побудили вселюбезнейшего нашего деда, государя императора Петра Великого, вечной славы достойный памяти, монарха великодушного и человеколюбивого, тогдашних времен обстоятельства и неисправленные еще в народе нравы. С того времени от часу меньше становилось надобности в помянутых канцеляриях. Но как тайная розыскных дел канцелярия всегда оставалась в своей силе: то злым, подлым и бездельным людям подавался способ или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни и наказания, или же зlostнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей. Мы, последуя нашему человеколюбию и милосердию и прилагая крайнее старание не токмо неповинных людей от напрасных арестов, а иногда и самых истязаний защитить, но паче и самым злонаправленным пресечь пути к произведению в действо их ненависти, мщения и клеветы, а подавать способы к их исправлению, повелеваем: тайной розыскных дел канцелярии не быть, и оную совсем уничтожить; а дела, буде иногда такие случатся, кои до сей канцелярии принадлежали б, смотря по важности, рассматриваны и решены будут в сенате. Но дабы сия наша милость для всех добрых и верных подданных совершенное действо имела, а напротиву того не показалось бы бесстрашно составлять, хотя и тщетные и всегда на собственную погибель злодеев обращающиеся, умыслы противу нашего императорского здравия, персоны и чести нашего величества, то есть первого указом 1730 года, апреля 14 дня, описанного пункта, или же завести бунт, или сделать измену против нас и государства, то есть второго, тем же указом истолкованного пункта: то восхотели мы чрез сие точнее объявить наши соизволения; и потому:

1) Вышеупомянутая тайных розыскных дел канцелярия уничтожается отныне навсегда; а дела оной имеют быть взяты в сенат; но за печатью к вечному забвению в архиву положатся.

2) Ненавистное выражение, а именно: «слово и дело», не долженствует значить отныне ничего; и мы запрещаем не употреблять оного никому. А если кто отныне оное употребит в пьянстве, или в драке, или избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказывать так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники.

3) Напротиву того, буде кто имеет действительно и по самой правде донести о умысле по первому или второму пункту: такой должен тотчас в ближайшее судебное место или к ближайшему ж воинскому командиру немедленно явиться и донос свой на письме подать; а только в случае, если ли кто не умеет грамоте, тот может доносить словесно, однакож не иначе,

как тем же порядком, то есть пришед в ближайшее судебное место или к воинскому командиру, со всяким благочинием.

Далее говорится подробно о том, как поступать с доносчиками, чтобы дознаться, справедлив ли донос. Доносчика велено брать под караул, расспрашивать – впрочем, без пытки, исследовать его прежнюю жизнь и поведение, делать строгую поверку его слов, не принимать доносов от преступников пред казнью, за ложный донос наказывать и пр. Словом, меры для отвращения клевет и ложных доносов приняты самые благоразумные. В заключение говорится: «Объявляем притом точно нашим императорским словом, что за справедливый донос всегда учинено будет, смотря по важности дела, достойное награждение, а напротив того – виновные, также смотря по делу, или нарочно учреждаемою на то время комиссиею, или же каким учрежденным уже судебным местом по сущей правде и справедливости судимы будут...»

Читая этот указ в 1762 году, современники, разумеется, не могли предвидеть, что через несколько лет явится на поприще полицейских исследований знаменитый Шешковский и что последующие обстоятельства заставят саму же Екатерину восстановить, к концу своего царствования, уничтоженную ею тайную канцелярию – под именем тайной экспедиции. Да если б это и могли предвидеть, то все-таки не могли не радоваться при данном облегчении, хотя бы и на краткое время.

Но не одно уничтожение тайной канцелярии привлекло к Екатерине сердца ее подданных в самом начале ее царствования. Она и вообще каждым своим распоряжением напоминала, что она, по ее выражению в «Секретнейшем наставлении» кн. Вяземскому, при определении его генерал-прокурором (см. «Чтения Московского общества истории», 1858, кн. I. Смесь, стр. 101), «иных видов не имела, как наивысшее благополучие и славу отечества; иного не желала, как благоденствия своих подданных, какого бы звания они ни были». В указе «о выходе беглым из-за границы», данном 19 июля 1762 года, то есть через три недели по вступлении Екатерины на престол, она говорит: «Положили мы главным намерением нашим, чтоб всегдашнее старание иметь о целости нашея империи и о благоденствии верных подданных наших, *чему мы и действительные опыты в краткое время государственования нашего показали, и впредь еще больше, да и с великим удовольствием, о том попечение прилагать не оставим*» (П. С. З., № 11618). И действительно, немедленно по вступлении на престол Екатерина отменила разные обременительные положения, утвержденные Петром III относительно гвардейских полков, увеличила жалованье и пайки солдатам некоторых полков, велела понизить повсюду цену соли, объявила амнистию всем беглым, скрывавшимся в Польше и Литве, установила апелляционные сроки для тяжбных дел, издала подробный указ «о коммерции, торгах и откупах», в отмену указа Петра III от 28 марта, в котором оказались «многие неудобства, клонящиеся ко вреду и тягости общенародной» (П. С. З., № 11630); повелела, «вместо бывших сыщиков, сделать в губерниях и провинциях *благочестивейшее* учреждение, как бы воров и разбойников искоренять» (П. С. З., № 11634); весьма резко и энергически восстала против лихоимства... Словом, почти с каждым днем являлись новые знаки ее заботливости о благосостоянии государства, и при этом нужно еще заметить, что Екатерина нисколько не старалась замаскировать печальное положение, в котором она застала государство, принимая власть в свои руки. Напротив, она сама старалась выставить сколько можно резче существовавшее до нее зло, чтобы тем более заставить ценить те меры, какие принимались ею для уничтожения этого зла. Вот, например, манифест ее «о лихоимстве», данный 18 июля 1762 года, спустя двадцать дней после воцарения Екатерины. Сила и откровенность его должны поразить удивлением даже и современного читателя, для которого тогдашнее положение дел есть уже предание чуть не мифологическое.

Божиим содействием престол наш утвердивши, вступили мы делом самым в правление всего государства, тем усерднее, чем больше народное обременение и государственные нужды того от нас востребовали.

Мы уже манифестом нашим от 6-го сего месяца объявили всенародно и торжественно, что наше главное попечение будет изыскивать все средства к утверждению правосудия в народе, которое есть первое от бога нам преданное святым его писанием повеление, дабы милость и суд мы оказывали всем нашим подданным и сами себя непостыдно оправдать могли пред богом, в хождении по заповеди его. Сие есть путь наш непорочный, которым мы, изыскивая блаженство нашего народа, ищем достигнуть будущего вечного за то воздаяния. Почему за долг себе вменяем непреложный и непременный объявить в народ с истинным сокрушением сердца нашего, что мы уже от давнего времени слышали довольно, а ныне и делом самым увидели, *до какой степени в государстве нашем, лихоимство возросло, так что едва есть ли малое самое место правительства, в котором бы божественное сие действие (суд) без заражения сей язвы отправлялось.* Ищет ли кто места, платит; защищается ли кто от клеветы, обороняется деньгами; клеветает ли на кого кто, все происки свои хитрые подкрепляет дарами. Напротиву того: многие судящие освященное свое место, в котором они именем нашим должны показывать правосудие, в торжище превращают; вменяя себе вверенной от нас звание судии бескорыстного и нелицеприятного за пожалованный будто им доход в поправление дому своему, а не за службу, приносимую богу, нам и отечеству, и мздоприимством богомерзким претворяют клевету в праведный донос, разорение государственных доходов в прибыль государственную, а иногда нищего делают богатым, а богатого нищим. Мы бы неправосудны были пред богом, ежели бы мы о всех наших верноподданных того же мнения были: но добросовестные и честные люди, которыми государство наше наполнено, не изменят лица своего, слыша и читая сие наше с материнским соболезнаванием негодование, а причастники сего зла, всеконечно, должны угрызение своей совести почувствовать *тем паче, когда они воззрят только на наше действие, в котором нам бог предводительствовал, и на наше праведное перед богом намерение, с каким мы воцарились. Не снискание высокого имени обладательницы Российской, не приобретение сокровищ, которыми паче всех царей земных нам можно обогатиться, не властолюбие и не иная какая корысть, но истинная любовь к отечеству и всего народа, как мы видели, желание нас понудили принять сие бремя правительства.* Почему мы не токмо все, что имеем или иметь можем, но и самую нашу жизнь на отечество любезное определили, не полагая ничего себе в собственное, ниже служа себе самим, но все труды и попечение подъемлем, для славы и обогащения народа нашего. В таком богоугодном намерении для отечества нашего, сколь трудно бы было нам царствовать, ежели бы правосудие на судах не содействовало нашему желанию, и сколь притом огорчительно, когда мзда и корысть оными обладают в сердцах таковых злонравных, которые, забыв многие предков наших блаженной и вечнодстойной памяти государей, а особливо деда нашего вселюбезнейшего, государя императора Петра Великого, строжайшие о лихоимстве указы, судей недостойно, а лихоимцев праведно имя носят и свою алчбу к имению, служа не богу, но единственно чреву своему,

насыщают мздоприимством, лстя себя надеждою, что все, что они делают по лакомству, прикрито будто добрым и искусным канцелярским или приказным порядком, а сердцеведца бога не памятуя, судью всевышнего, который все злые их помышления и советы открывает путями неизвестными и нас самих, яко законоположительницу, наконец побудит на гнев и отмщение. Таковым примерам, которые вкоренились от единого бесстрашия в важнейших местах, последуют наипаче во отдаленных находящиеся и самые малые судьи, управители и разные к досмотрам приставленные командиры, и берут с бедных самых людей не токмо за дела безвинные, делая привязки по силе будто указов, в самом же деле во зло только ими истолкованных, и разоряя их за то дома и имения, – но и за такие, которые не иначе, как нашего благоволения и милости высочайшей достойны, так что сердце наше содрогнулося, когда мы услышали от нашего лейб-кирасирского вице-полковника князя Михаила Дашкова, что в проезд его ныне из Москвы в Санкт-Петербург некто новгородский губернской канцелярии регистратор Яков Ренбер, приводя ныне к присяге нам в верности бедных людей, брал и за то с каждого себе деньги, кто присягал; которого Ренбера мы и повелели сослать на вечное житие в Сибирь на работу, по единому только еще нашему матернему милосердию; потому что он за такое ужасное, хотя малокорыстное преступление праведно лишен быть должен живота.

Сильное, однако ж, наше на бога упование и природное наша великодушие не лишает нас еще надежды, чтоб все те, которые почувствуют от сего милосердного к ним напominания некоторое в совести своей обличение, не помыслили, сколь великое зло есть в государственных делах мздоприимство, а на суде, где правда божественная поборствовать должна, скверное лакомство и лихоимство; и потому, видя нашу умеренность матернюю ко всем верноподданным, не отчаиваемся, чтоб каждой, вразумя себе наше сие милостивое упоминание, не отринул от себя прежних поступков, ежели он ими заражен был. Но когда и после сего, что при вступлении нашем на престол, в совершенном еще незлобии сердца нашего, всем здесь лихоимцам и мздоприимщикам мы восхотели сделать увещание милосердное, не подействует оное в сердцах их окаменелых и зараженных сею пагубною страстию; *то ведали бы они же, что мы установленным противу сего зла законам сами за правило себе примем и впредь твердо содержать будем повиноваться, не дав уже более милосердию нашему места.*

Почему и никто обвиненный в лихоимстве (ежели только жалоба до нас дойдет праведная), яко прогневающий бога, не избежит и нашего гнева, так как мы милость и суд в пути непорочном царствования нашего богу и народу обещали. Дан в Санктпетербурге, июля 18 дня 1762 года.

Трудно вообразить себе что-нибудь более решительное, самоуверенное и откровенное, чем этот манифест. Здесь не только прямо указывается зло, не только делаются обещания в общих словах, но далее называется по имени преступник, сообщается во всеобщее сведение сделанное ему наказание и прямо объявляется, что манифест этот издан именно для предупреждения других от подобных поступков, за которыми последует строгое наказание. Но, не ограничиваясь и этим, императрица выказывает еще более искренности и откровенности, говоря, что самый способ ее восшествия на престол заставлял ее как можно более стараться о том, чтобы не возбуждать против себя неудовольствия, и что этого она не может иначе достигнуть, как позаботясь о водворении в государстве правосудия. Изъявления своих наме-

рений, сделанные подобным образом, с представлением таких причин, необходимо должны были увлечь самых упорных скептиков, если бы таковые нашлись. И это тем более, что подобные расположения высказывались Екатериною не в одних торжественных манифестах и указах, но даже в секретных ее приказаниях ближайшим к ней лицам. В пример этого можно указать на «Секретнейшее наставление» кн. Вяземскому, данное ему при определении его в генерал-прокуроры и недавно напечатанное в «Чтениях». Наставление это показывает, между прочим, и то, как зорко смотрела Екатерина на многие насущные вопросы и как хорошо понимала она всю совокупность государственного управления. Кн. Вяземский определен генерал-прокурором в 1764 году, и, следовательно, документ этот относится к самому началу царствования Екатерины. Приведем из него некоторые пункты («Чтения Московского общества истории», 1858, кн. I, стр. 101–104).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Из басни «Кот и повар» (ок. 1812 г.).

2.

Речь идет о публицистах, сотрудничавших в «Московских ведомостях», «Русском вестнике».

3.

Отмечая историческую слабость сатиры Кантемира, Добролюбов недооценивает ее национальный, прогрессивный характер в петровское время. В данной фразе – намек на молдаванское происхождение А. Кантемира и его длительную дипломатическую службу за границей.

4.

Эти мотивы есть в ряде сатир А. Кантемира, особенно в Сатире II («На зависть и гордость дворян злонравных»).

5.

Имеется в виду Песнь I («Противу безбожных»).

6.

Об этом шла речь в Сатире I («На хулящих учения. К уму своему»).

7.

См. примеч. 6 к статье «Литературные мелочи прошлого года».

8.

Имеется в виду полемически заостренная против «Литературных мелочей прошлого года» (об этой полемике см. наст. т. с. 726–727) статья Герцена «Very dangerous!!!», в которой автор иронически вопрошал противников обличений: «Давно ли у нас вкус так избаловался, утончился?» (Герцен, XIV, 117).

9.

Речь идет о двухтомной «Русской истории» Н. Г. Устрялова (изд. 5-е. СПб., 1855) и «Полном собрании законов Российской империи. Собрание первое. С 1649 по 12 декабря 1825 года» (СПб., 1830).

10.

Записки Г. Р. Державина. 1743–1812 (РБ, 1859, кн. 13–17).

11.

В ОЗ (1858, № 3) – Заболоцкий М. Мнение кн. М. М. Щербатова об одном современном вопросе (текст записки о Петровской реформе); в «Библиографических записках» – «Несколько заметок кн. М. М. Щербатова о разных предметах» (1858, № 13), сатира Щербатова «О муж почтенный...» и др. (1859, № 12–15). Статьи М. М. Щербатова, опубликованные в «Московских ведомостях» (1859), Добролюбов цитирует в последней части настоящей работы.

12.

«Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете» напечатали «Допросы Пугачеву» (1858, кн. 2), «Далматовский монастырь в 1773–1774 годах, или в пугачевский бунт...» (1859, кн. 1) и др. О материалах «Пермского сборника» (1859) см. посвященную ему рецензию Добролюбова в наст. т.

13.

Статья Д. Иловайского: «Екатерина Романовна Дашкова. Участие в политическом перевороте» (ОЗ, 1859, № 9).

14.

«Живописец» – сатирический журнал Н. И. Новикова, издавался в 1772–1773 гг. «Письмо Господину сочинителю «Живописца» подписано «Осьмидесятилетний Старик» (Живописец, 1772, ч. I, л. 7). Автор его не установлен.

15.

Богиня справедливости в греческой мифологии.

16.

Трутень, 1769, лист XXXV.

17.

Цитата из оды Вольтера «Императрице России Екатерине II» (1771). Это же письмо с цитатой из Вольтера приводится в статье «Собеседник любителей русского слова». См. наст. изд., т. 1, с. 127 и с. 788, примеч 33.

18.

Из «Оды к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице...» (1782). Текст указывается по изд.: Сочинения Державина, т. I. СПб., 1847.

19.

В строфе пропущен второй стих:

20.

Ода сочинена в 1801 г.

21.

Записка Н. М. Карамзина «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении» (1811) цитируется по изданию: Карамзин Н. М. История государства Российского, изд. 5-е, кн. I–III. СПб., 1842–1843.

22.

Цитируется «Полное собрание законов Российской империи...». См. выше примеч. 9.

23.

«Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особое внимание» (Собеседник любителей русского слова, ч. III).

24.

«К г. сочинителю «Былей и небылиц» от сочинителя «Вопросов».

25.

Сочинения императрицы Екатерины II, т. I–III, изд. А. Смирдина. СПб., 1849–1850.

26.

Намек на Великую французскую революцию.

27.

Почти весь тираж «Путешествия из Петербурга в Москву» был уничтожен.

28.

Сопиков В. С. Опыт российской библиографии, ч. 1–5. СПб., 1813–1821.

29.

Речь идет о распространении литературы минуя цензуру.

30.

Обязанность каждого доносить «о слове и деле», направленном против государя. Система такого розыска была установлена еще в XVII в.

31.

См. примеч. 13.